

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](http://bookscafe.net)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Леонид Николаевич Андреев Весной

I

Когда стемнело и в комнатах зажгли огонь, он достал из-под кровати толстые непромокаемые сапоги и стал надевать их. От воды кожа съежилась и затвердела, сапог с трудом входил на ногу, и с гримасой злости и отвращения Павел притопнул ногой. Потом, точно ослабев от сделанного усилия или вспомнив что-то важное, чего нельзя забывать ни на минуту, он бессильно бросил руки на постель, сгорбился, так что голова вошла в плечи, как у больного или старика, и задумался. В доме ходили, разговаривали, весело стучали чайной посудой, и маленькая Катя, оставленная, очевидно, нянькой и добравшаяся до рояля, выстукивала все одну и ту же звонкую и веселую нотку, — а он сидел неподвижно, с одной обутой ногой, смотрел в пол и думал о том важном и страшном, о чем нельзя забывать ни на минуту. И дышал он так тихо, что можно было стать рядом и не догадаться, что тут есть живой человек.

Мать увидела его, когда он проходил через столовую, и тревожно спросила:

— Ты куда, Павлик?

Павел, не оборачиваясь, ответил:

— К товарищу.

Говорил он басом и был длинный, с узкими, покатыми плечами, не похожий ни на толстого, короткошеего отца, ни на малорослую мать. И когда он скрылся в кухне, через которую ходили обыкновенно домашние, мать подумала, что и на этот раз он не поцеловал ее, уходя, и что теперь он никого не целует: ни мать, ни отца, ни сестер. Два раза он возвращался домой пьяный, и в столе у него, под тетрадами, она подсмотрела большой страшный револьвер и предполагала, что у Павла роман с какой-нибудь дурной девушкой, из-за которой он может наделать беды. Отец его тоже хотел застрелиться, когда был женихом, и не застрелился только потому, что нигде не мог достать револьвера и она отговорила его. «Все они хотят стреляться», — подумала она с невольной улыбкой, но все-таки решила завтра же украсть опасное оружие и передать отцу. Пусть с ним и разговаривает.

Ночь была черна от низкого, покрытого тучами неба и от черной земли, которая вся за последние дни пропиталась дождевой водой, и когда свет из окна падал на протоптанную среди грязи тропинку, она лоснилась, как черный атлас. Фонарей на этой захолустной улице не было, и Павел шагал наудачу; раз он больно ударился коленкой о столбик и брезгливо сморщился: ненужная и вздорная боль мешала думать. Кругом находились сады, и пахло так хорошо, как пахнет во время дождя в лесу: сыростью, березовым листом и какими-то цветами, которые только и пахнут в сырую погоду. Низкие и плотные тучи пригнетали душистый воздух к земле, и он был густой и теплый, как липовый мед, и груди делалось от него широко и больно. И, ощущая эту странную, задумчивую и нежную боль, похожую на далекую песню без слов, Павел не мог понять ее, как не мог он понять ни весны, ни жизни, ни самого себя.

Казалось, что темнее не может быть, но, когда Павел вышел на берег реки и уже не видно было силуэтов домов и огоньков в окнах, тьма стала глубокой и тяжелой и так близко надвигалась сверху и с боков, точно хотела задушить. И грязь стала глубже и лужи чаще, и

уже не пахло садами, а только широкой невидимой водой и тучами. Сапоги шлепали, и этот тупой, одинокий звук, раздававшийся за спиной и таинственно умолкший, когда Павел останавливался, навел на него страх. Нашулав в кармане револьвер, Павел положил на него руку и так, оглядываясь и прислушиваясь, дошел до железнодорожной насыпи и по скользким ступенькам взобрался на нее.

На мосту никого не было, и Павел тихо, стараясь не скрипеть ногами по песку, чтобы не услышал сторож, прошел мимо освещенной будки и скрылся во тьме глубокой выемки, похожей на днище огромного длинного гроба. И тишина тут была такая, как в гробу, и воздух неподвижный, сдавленный, как будто им никогда не дышал. За поворотом были сложены негодные шпалы, на которых часто сидел Павел, и теперь он ощупью нашел сырые, исщепленные поленья и сел, спустив ноги. И опять спина его сторбилась, и все тело охватило страшное бессилие и покой, которым нельзя было верить: где-то в глубине билось что-то тревожное, зловещее и требующее решительного, смелого и ужасного поступка.

«Вот тут я и лягу», — подумал Павел, взглядываясь в невидимые рельсы.

Он уже целую неделю ходил сюда и присматривался, и тут нравилось ему, так как все — и воздух и могильная тишина говорили о смерти и приближали к ней. Когда он так сидел, тяжело, всем телом, и стены выемки охватывали его, ему казалось, что он уже наполовину умер и нужно сделать немного, чтобы умереть совсем. Каждую весну, вот уже три года, он думал о смерти, а в эту весну решил, что умереть пора. Он ни в кого не был влюблен, у него не было никакого горя, и ему очень хотелось жить, но все в мире казалось ему ненужным, бессмысленным и оттого противным до отвращения, до брезгливых судорог в лице.

И бывало это весной. Зимой он не замечал жизни и жил просто, как и все, но, когда сходил снег и земля становилась прекрасной и обнажалось во всей загадочной красоте сияющее небо, он чувствовал себя, как птица, у которой обрубили крылья и которую сделали неуклюжим, медленно ползающим человеком. И крылатая душа трепетала и билась, как в клетке, и непонятна и враждебна была вся эта красота мира, которая зовет куда-то, но не говорит куда. Потерявшийся, он шел к людям с безмолвным вопросом — и все людские лица казались ему плоскими и тупыми, как у зверей, а речи их ненужными, вздорными и лишеными смысла, как бред или мычание животного. У них в доме была корова с большими глупыми глазами, и ему казалось, что мать его, которую он любил, похожа на эту корову, и от этих дурных мыслей он презирал себя.

Далеко за поворотом послышался гул, который он ощутил скорее вздрогнувшим телом, чем слухом. Послышался и угас, будто свинцовый воздух и тьма задушили его. Блеснули мокрые рельсы, и из-за черной стены медленно выплыл огненный глаз, одинокий и зловещий. Он стал прямо против Павла, и не видно было, подвигается он или нет, и хотелось, чтобы он закрылся или погас; но он смотрел, не мигая, зловещий и пристальный, и становился все больше, все ярче и злее. Сердце Павла поднялось высоко, к самому горлу, — и упало, разбившись на тысячу коротких, быстрых толчков, от которых пересохло во рту. Впившись пальцами в сырые бревна, он наполовину сдвинулся с них и вытянул ногу, касаясь носком земли. И поза его была такая, как у человека, который хочет сделать быстрый и решительный прыжок, и когда свет фонаря упал на его глаза, они были расширены и в них был ужас. Медленно, как больной или усталый, прошел мимо Павла слабо освещенный паровоз, а за ним, как тени, потянулись вагоны, грузно постукивая и колыхаясь. И чувствовалось, как тяжела их угрюмая масса и как беспощадно дробили бы они тело, попавшее под колеса.

Поезд прошел, а Павлу все еще чудилось, что смерть еще тут, еще не ушла, и со страхом, которому он не мог найти объяснения, он быстро соскользнул со шпал и пошел. На мосту он увидел сторожа и сказал ему:

— Добрый вечер!

Сторож осветил его фонарем, повернулся, ничего не сказал и ушел в будку. И опять Павлу стало тяжело и безнадежно спокойно. Он долго стоял, облокотившись на тонкие железные перила, всматриваясь в ровную тьму, такую же безнадежную и ровную, как его

тоска. И, покачав головой, он громко сказал:

— Завтра.

Когда Павел подходил к дому, короткая майская ночь уже подходила к концу, а у парадного стояли два экипажа, и окна были освещены. От крыльца двинулась к нему темная фигура, и встревоженный Павел узнал дворника Василия.

— Что случилось? — спросил Павел, зная наверное, что что-то случилось и что случившееся ужасно. — Что с мамой?

— Сергей Васильевич были в клубе... Маменька велели подождать вас тут.

— Что с отцом?

Но он уж знал, что. Везде, в кухне, столовой и спальне, был яркий свет, режущий глаза, и ходили люди. У няньки седые волосы выбились из-под платка, и она походила на ведьму, но глаза краснели от слез и голос был жалостливый и добрый. Павел оттолкнул ее, потом еще кого-то, кто цеплялся за него и мешал пройти, и сразу оказался в кабинете. Все стояло там, как всегда, и голая женщина улыбалась со стены, а на полу посередине комнаты лежал отец в белой ночной сорочке, разорванной у ворота. Весь свет от лампы и свечей падал, казалось, только на него, и оттого он был большой и страшный, и лица его не мог узнать Павел. Оно желтело прозрачной и страшной желтизной, и глаза закатились, белки стали огромные и необыкновенные, как у слепого. Из-под простыни высунулась рука, и один толстый палец на ней, с большим золотым перстнем, слабо шевелился, сгибаясь и разгибаясь и точно пытаясь что-то сказать. Павел стал на колени, дрожащими губами поцеловал еще живой, шевелившийся палец и, всхлипнув, сказал:

— Зачем на полу? Зачем на полу?

Кто-то из темноты ответил:

— Вы не плачьте. Он еще останется жив. Он был в клубе, и с ним сделался удар, но он еще останется жив.

Из соседней комнаты послышался вопль, хриплый, клокочущий и неудержимый, как хлынувшая через плотину вода. Пронзительным звуком он пронесся по комнатам, наполнил их и перешел в жалобные слова:

— Го-лубчик мой... Сере-женька!..

Умиравший тихо шевелил пальцем, и хотя лицо было все-таки желто и неподвижно, казалось, что он слышит зовущий его голос, но не хочет почему-то отвечать. И Павел дико закричал:

— Папа! Да папа же!

II

Теперь Павел был старшим в доме, и ему пришлось заказывать гроб, ездить в церковь за покровом и нанимать певчих. Днем он немного заснул на детской постели, и ему приснилось, что он целует голую женщину, ту самую, что висит в кабинете. Сон был противный, но он скоро забыл о нем и все ходил, и все распоряжался, и так наступила ночь.

Все в доме успокоилось. Мать, с которой на панихидах три раза делалось дурно, уснула с маленькой Катей; Андрей и Шура тоже спали, наплакавшись за день, и только возилась в кухне прислуга, да в дальней комнате собравшиеся родственники пили чай. Когда вошел Павел, дядя Егор доказывал, что в такие ночи нужно пить чай с ромом или с коньяком.

— В доме всегда нужно иметь коньяк, — говорил он, — потому что коньяк очень хорошо действует на организм. Простудишься ли, ноги ли промочишь, или какая неприятность, сейчас выпил коньяку, и испариной все выйдет. Павлик, ты не хочешь стаканчик с коньячком? Выпей.

Лицо у дяди Егора было плоское и красное, и Павел подумал, что лучше было бы, если бы умер дядя Егор, а не отец. И он сурово ответил:

— Не хочу.

Если посмотреть со двора на дом, то сразу можно было подумать, что в доме большой и

веселый праздник: все окна были освещены, и целые снопы света падали от них на землю. Но было что-то жуткое и необыкновенное в этом доме, горевшем всеми своими окнами среди темной ночи, и чувствовалось, что там, в одной из комнат его, лежит немой и холодный мертвец. Он лежит, немой, неподвижный, и господствует над всем домом, и все, что вокруг, принадлежит ему и служит для него.

Павел ходил по двору взад и вперед и повторял все одни и те же слова, которые остались у него в памяти от панихиды:

— Со святыми упокой, господи, душу усопшего раба твоего.

Он повторял их десятки и сотни раз, то нежно, то с безнадежным отчаянием, и каждое слово выговаривал ясно и глубоко, но вкладывал в него совсем особенный смысл.

И все эти слова значили одно: смерть. И все мысли, какие были у Павла, значили одно: смерть. Из сада шел густой и сильный запах травы, деревьев и распустившегося жасмина, и запах этот значил все то же: смерть. И непонятно было, зачем этот сладкий и веселый запах, когда умер человек, обонявший его; зачем эти звезды и мягкая теплая тьма; зачем этот свет в окнах, когда человек умер и лежит немой и холодный, как глыба бездушного льда.

В темном сарае Павел нашел прислоненную к стене крышку широкого гроба. Под ней будет лежать отец, и Павел забрался под нее и встал, стараясь быть неподвижным и не дышать, как мертвец. Он думал, что так он скорее поймет, что такое смерть. Но от крышки шел приятный запах свежего теса, и было в нем, как в запахе листвы, что-то противоречащее смерти, еще более загадочное, чем она, и настойчиво зовущее. Павел закрывал глаза и думал, что и он будет так же лежать и будет мертв, но сердце его громко стучало, и ему было жаль отца, а приятный запах дерева обвевал его тонкой, живой и неразрывной паутинкой. И он не мог представить, что будет когда-нибудь мертв. Когда он вышел из сарая, еще сильнее пахло ароматом цветущего сада, и откуда-то издалека пронеслась тихая, но торжествующая, опьяненная жизнью и любовью песнь соловья. И со всей острой жалостью измученного сердца, со всей неразгаданной страстной тоской, со всей прелестью майской ночи — жизнь была так прекрасна, что хотелось умереть — чтобы жить вечно.

Шатаясь, Павел дошел до забора, припал к нему головой и долго плакал, повторяя запавшие в память слова:

— Со святыми... упокой...

Но теперь они уже не значили: смерть.

Наутро опять начались хлопоты. Пришел фотограф, чтобы снять портрет с мертвого Сергея Васильевича, и было уже пора, так как покойник начал портиться. Гроб вынесли на террасу, где было светлее, и фотограф, остробородый и быстрый человек в пиджачке, долго приспособлял аппарат. Голова мертвеца лежала неудобно, и фотографу, видимо, хотелось сказать: потрудитесь немного повернуть ее и улыбнитесь, — и с снисходительной почтительностью, стараясь выказать свое понимание, что он имеет дело с мертвецом, он осторожно двумя пальцами повернул ее. Голова покачнулась и опять стала на свое место, но фотограф сделал вид, что доволен.

— Так будет хорошо, — сказал он.

Дядя Егор посмотрел сбоку и подтвердил:

— Да, хорошо.

Но тут вошла мать Павла. Никого не видя, сразу ставшая седой и старой, она медленно, со старческой дрожью в ногах поднялась по ступенькам, тихо подошла к гробу и руками вперед упала на него.

— Мама! Мама! — просил Павел, стараясь отвести ее. Но она отпихивалась локтями, цеплялась, тащила за собой тяжелый покров и говорила:

— Пусти... Пусти!.. Это я ему.

И в руке у нее Павел увидел скомканные, жалкие цветы: голубенький колокольчик и одуванчики. Они были, как она их сорвала, с листьями и травой, и держала она их так крепко, что из одуванчика выступил белый, как молоко, сок.

— Сестра! — сказал дядя Егор, — успокойся.

Павел оттолкнул его плечом и кротко сказал:

— Положи, мама.

И живые цветы легли на грудь мертвеца. Когда мать и Павел ушли, фотограф придал цветам живописное положение, и дядя Егор похвалил его.

— Трудное ваше дело — фотография. Требуется большого искусства.

— Да-с. С живыми-то ничего, но мертвые... — и щелкнул аппаратом.

Потом опять начались панихиды и «со святыми упокой». Приезжали знакомые Сергея Васильевича и сослуживцы, которых Павел водил курить в сад, и все они предлагали ему папиросу, как равному. И все в доме пропиталось запахом ладана и еще каким-то другим, тяжким и зловещим запахом. Под столом, на котором лежал покойник, уже стояла кадка со льдом, а к вечеру пришлось заложить у покойника нос и уши ватой и положить вату на рот. И видны были только лоб, гладкий, как из кости, и страшно крепко закрытые глаза, как будто человек этот закрыл их и решил никогда уже не открывать. И хотя покойник стал страшнее, чем был, и дядюшка жаловался, что в комнате с ним трудно быть, в эту ночь все спали спокойнее и крепче, так как привыкли к его присутствию.

На третье утро Сергея Васильевича похоронили. Опять Павел распоряжался, отгонял любопытных, мешавших пронести в двери гроб, помогал выводить из церкви мать, с которой часто делалась дурнота, и вместе с дядей Егором приглашал всех после погребения к закуске. Он кланялся, слабо улыбаясь, считал на руке мелочь, которую принесла ему какая-то старушка, и время бежало так быстро, и события шли так скоро одно за другим, вне его воли, что он не успевал ни думать, ни вспоминать. Потом он шел за высоким катафалком и глядел, не отрываясь, на стриженный затылок отца. От неровностей дороги и толчков голова слегка покачивалась, а сверху и с боков все горело от яркого майского солнца, и пыль под ногами светилась и жгла обувь. Сзади стучали колеса, и слышались частые возгласы дяди Егора:

— Сестра, успокойся.

Павел слышал их и понимал, что мать его опять плачет, но, охваченный странным, тупым равнодушием, не оборачивался. И от всех похорон у него остались в памяти только стриженный, покачивающийся затылок отца да белые от пыли сапоги.

С кладбища его вместе с каким-то господином повез быстрый и веселый извозчик, подымавший целые тучи пыли. Пролетка прыгала и плавно покачивалась, по сторонам за низенькими заборами подымались густые и свежие сады, и все это было так красиво и приятно после медленного и однообразного движения за катафалком, что Павел глубоко вздохнул и попросил у спутника папиросу. В комнатах все окна были раскрыты настежь, всюду стояли цветы, и нельзя было подумать, что совсем недавно здесь стоял покойник. И обедали долго и шумно. Дядя Егор всех угощал, ловко наливал рюмки и не принимал никаких отговорок.

— Надо помянуть покойника, — убедительно говорил он. — Батюшка, пожалуйста! Отец дьякон, а что же ваша рюмка-то?

Когда все посторонние разъехались, Павел пошел в сад и долго ходил по его тенистым дорожкам и с изумлением глядел по сторонам. Ему казалось, что долго, очень долго он лежал в тесном и узком гробу, не дышал, не видел солнца и не знал всей этой пышной, расточительной красоты.

Земля творила. Так густо, что не проникал взгляд, зеленели пушистые, гладкие, широкие и острые листья. Все было молодые, радостные, полные могучей силой и жизнью. Казалось, можно было уловить глазом, как они растут и дышат, как из влажной и теплой земли тянется к солнцу трава. И все в саду было полно густым гудением, полным заботы и страстной радости жизни. Оно было вверху и внизу, не видно было, кто гудит и поет, но чудилось, что это поет трава, цветы и высокое синее небо. Казалось, что можно было слышать траву и обонять душистое знойное жужжанье, так все, запах, звук и краска, неразрывно сливались в одну дивную гармонию творчества и жизни.

В углу, под солнцем, Павел увидел березку, на его глазах посаженную отцом. Он

помнил, как тогда чернела разрытая земля и там была березка, а теперь она стояла стройная, высокая, и легко, без усилия, простирались в воздухе ее сердцевидные листья, окрашенные нежной молодой зеленью. И Павлу стало жаль отца, и стройная березка сделалась ему родной и милой, как будто в ней еще не умер и никогда не умрет дух того, кто дал ей эту зеленую, веселую жизнь.

— Павлик, где ты? — звали его.

От дома разбитой походкой шла мать, и за ней, держась за подол, переваливался Шурка.

— Как я устала, — сказала она, садясь на скамейку, — побудь со мной, Павлик.

— Хорошо, мамочка.

Внезапно мать встала и упала на колени перед Павлом, потащив за собой и крепко державшегося Шурку. И, плача тихими слезами горя, прижимаясь лицом к руке сына, проговорила:

— Павля! милый... Ты один теперь у нас... Ты один наша защита.

И Шурка серьезно проговорил:

— Павля! А Павля?

Павел гладил рукой седую, вздрагивающую голову, и далеким черным сном пробежала перед ним мрачная железнодорожная ветка и одинокий зловецкий глаз. Он гладил вздрагивающую голову, смотрел на сморщившегося Шурку и видел, какие все они маленькие, и жалкие, и одинокие, и как они нуждаются в защите и любви. И он почувствовал себя сильным и крепким, и голос его был полный и громкий, когда он сказал:

— Да, мама. Я буду жить.

Комментарии

Впервые с подзаголовком «Эскиз», — в газете «Курьер», 1902, 14 апреля, № 103.

Рассказ носит автобиографический характер. Павел — это сам Андреев-гимназист, переживающий смерть отца, скончавшегося 19 мая 1889 г. Как и в «Празднике», его волнует проблема преодоления чувства одиночества, которое, по Андрееву, возможно на пути осознания личностью своего долга, своих обязанностей перед другими людьми. У Андреева «личность противопоставляется <...> в конечном результате чему-то абсолютно ценному и великому, в слиянии с которым она за пределами раздельностей может найти удовлетворение» (Ганжулевич Т. Русская жизнь и ее течение в творчестве Л. Н. Андреева. СПб., 1908, с. 47).

Андреев считал рассказ «Весной» не удавшимся. 10 апреля 1902 г. он писал М. Горькому: «Пасхального рассказа моего не читай. Дряннь, сделанная в одни сутки на заказ, чтобы вывезти «Курьер», у которого совсем нет беллетристики» (ЛН, т. 72, с. 143).

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)
[Оставить отзыв о книге](#)
[Все книги автора](#)